

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Под шум вьюги

«Большие стенные часы безукоризненно отбивали такт. Они одни только нарушали сумрачную тишь, окружавшую меня, — они да смутный шум вьюги, бушевавшей за окнами...

Тоска одолевала меня...»

Александр Иванович Эртель
Под шум вьюги

Был пасмурный зимний день. С самого утра шла метель, дул сильный ветер. В моей холостой квартире было темно, мрачно, неприятно... Дела не было; из знакомых приехать было некому: кто отправился к празднику, — был последний день масленицы, прощенный день, — кто сидел дома, в кругу семьи. Моя семья была далеко...

Большие стенные часы безукоризненно отбивали такт. Они одни только нарушали сумрачную тишь, окружавшую меня, — они да смутный шум вьюги, бушевавшей за окнами... Книг не было, — только вчера отослал в городскую библиотеку обменять на новые.

Тоска одолевала меня... Я и курил беспрестанно, и вымеривал тяжелыми шагами мою длинную комнату, и бессознательно всматривался в волны снега, бившие в стекла... А тоска росла пуще и пуще... Пошли бродить думы, воспоминания... все горькие, невеселые, под стать к погоде, под стать к скучному сумраку, лившему в окна... Напрасно я разыскивал в этих думах, в этих воспоминаниях яркого, светлого луча, напрасно напрягал память, вызывая его, этот луч, эту ободряющую полосу

света... Все было — сплошная одуряющая тьма... Моя память упорно отказывалась воспроизвести светлое, радостное и, как бы издеваясь надо мной, назойливо рисовала все скверное, все мучительное моего прошлого... Ряд фактов, один другого безотраднее, один другого тяжелее, вставляли и медленно проходили предо мною, каждый отзываясь тупою болью в сердце... И как живо представлялись мне эти факты... С какой убийственной ясностью подробностей!.. Они угнетали меня... Они заполняли мою мысль, мои чувства... Мало-помалу самое желанье радости и света остывало во мне, обессиленное наплывом горя... Все во мне переполнилось этим горем, этою тоскою... Не той тихой, меланхолической тоской, которая часто неразрывна и с хорошими минутами, а той, от которой бежать хочется куда глаза глядят или разбить голову об стену...

«Хоть бы поехать куда!» — вырвалось у меня. А куда сунешься, куда поедешь в такую бешеную погоду? Куда вырвешься из этой проклятой норы?.. Я с ненавистью оглянул комнату...

Полусумрак тускло освещал белые каменные стены, чисто вымытый пол, стеклянный шкаф с кипами запыленных бумаг.

Маятник неумолимо отчеканивал такт... Вьюга металась в окна... Где-то под полом скреблась мышь...

Невыносимо...

«Поеду к Панкратову, — решил я, — что ж что погода?... Три часа езды не много».

Был час пополудни.

До Панкратова считалось тридцать верст. «Еду!» — проговорил я, упрямо отгоняя назойливые мысли о погоде, о скверной дороге... Из дома меня словно гнал кто...

Выехал я из своего хутора в два часа. В поле несла сильная подземка... Ветер гнал беспорядочными волнами сухой снег. В двадцати шагах ничего не было видно. Но с дороги снег сметало, и ехать было можно. Колокольчики глухо звенели под дугою, прозябшие пристяжные уносили на славу...

— Эй, потрогивай, Яков, не рано! — покрикивал я, глубоко вдыхая холодный воздух и выставляя лицо в упор рьяному ветру.

— Ну вы, дети! — погонял Яков, слегка по-

качиваясь на облучке, и «дети» неслись, взрывая рыхлые сугробы... Дух захватывало... Что-то свежее, бодрое разливалось по жилам...

А «погода» все усиливалась. Над полем ложился сумрак. Тяжелые тучи облегли небо. Ветер свирепел...

— Эй, приуныли, голубчики!.. — понукал расходившуюся тройку Яков, молодежато по-свистывая и помахивая кнутиком... И тройка неслась... Колокольчики стонали и захлебывались... Пристяжные отфыркивались от снега, влипавшего в их горячие ноздри... Под полозьями скрипела морозная дорога... Вешки серыми пятнами мелькали сквозь клубы снега...

Проехали пятнадцать верст. Потянулась длинными рядами изб Большая Березовка. Сумрак сгущался... Из свинцовых туч, низко прилегших к земле, повалил снег; ветер крутил его и разгонял по полю... Лошади начинали уставать. Колокольчики звенели порывисто, словно нехотя...

— Не ночевать ли нам, Яков, а?

— Ну... с чего... Тут, по реке-то, до Россош-

ного доберемся...

До Россошного считалось семь верст.

— Ступай до Россошного!

Опять выехали в поле. Дорога виднелась только под копытами лошадей и становилась тяжелой. Повеяло сильным холодом. Быстро вечерело...

Добрались кое-как до Россошного. Оставалось восемь верст... Дорогу положительно завалило... Посоветовались мы с возницей: «Что делать? Ехать без проводника невыносимо, ночевать не хочется, — пути-то немного осталось...» Порешили искать проводника. Остановили лошадей среди улицы, и Яков пошел по ряду изб, уж кое-где мигающих огоньками.

Поиски оказались неудачными: все было мертвецки пьяно ради прощенного дня, а если и попадался трезвый, то или запрашивал нелепые деньги, или прямо посылал нас «к черту»... Яков сообщал мне о неуспехе, но не бросал попытки и все ходил по окнам.

А темь все надвигалась да надвигалась. Становился настоящий вечер. Снег до такой степени усилился, что с одной стороны ули-

цы не было видно другой... Только огоньки смутно мерцали в окошках. Впрочем, вблизи было видно, — тьма была какая-то серая...

— Как же быть, — нету... — подошел ко мне Яков.

— Ну что ж, делать нечего — надо ночевать... Иди разыскивай ночлег.

Пошел мой возница с просьбой о ночлеге... Я сидел в санях и терпеливо дожидался его, с напряженным вниманием вслушиваясь в плаксивое завыванье вьюги... Редко, редко прерывалось это завыванье: смутно донесется залихватская песня, исполняемая пьяным голосом где-то далеко, на краю села... отрывисто звякнут колокольчики от нетерпеливого движения коренной, и опять монотонное, ноющее завыванье...

К саням подошел Яков и еще кто-то в плохом корявом зипунишке.

— Вот берется проводить за два рубля!

— А ты не пьян? — обращаюсь я к зипуну, с трудом отрываясь от тоскливых звуков вьюги.

— Росинки в рот не брал... — отвечает зипун, хватаясь за шапку. В голосе какая-то ис-

тома чудится, от всей фигуры веет беспомощностью и крайним смирением...

— Ну ладно. Как же ты, верхом, что ль, поедешь?

— Да поедемте ко мне, там видно будет... Вот у свата был, прощался... — неизвестно для чего прибавил он, мешковато усаживаясь на облучке.

Тронулись. Едем. Зипун кажет бесчисленные переулки. Ветер рвется и воет в тесном пространстве и назойливо заворачивает воротник моей шубы. Лошади поминутно прерывают рысь в глубоких сугробах... Наконец избы редуют, и видно уж чистое поле.

— Далеко двор-то твой?

— Да вот неподалеку... — ежась и укутываясь в свой дрянной зипунишко, чуть слышно отвечает мужичонко.

Подъехали к концу села. Одинокая избышка из необожженного кирпича стоит на отлете, краем к крутому оврагу. К одной стороне избы прилеплено что-то вроде хлева. Давно покинутая борона с похиленными зубьями придерживает ветхую крышу на избе, а ветер, дико воя, как бы негодуя на слабую преграду,

щетинит и рвет из-под бороны черную, полуистлевшую солому. Бедно... глухо...

Трубы на крыше не было. «Знать, по-черному»⁽¹⁾, — подумал я.

— Слезайте, погрейтесь покуда...

— Ну, это, пожалуй, не лишнее!

Я стряхнул с себя снег, налегший густым слоем, и направился в избу. Толкнул дверь в сени... Она подалась с каким-то жалобным скрипом, снег ворвался за мною... Ощупью я нашел другую дверь, — та была на более гладких петлях и не скрипнула. Тихо я вошел в избу. Удушливым, гнилым воздухом пахнуло на меня. Я остановился у порога. Ребенок плакал где-то в темноте, слабо скрипела колыбель...

Плач этого ребенка поразил меня: мне не доводилось слышать таких тоскливых, таких ноющих ноток... Это не было капризное хныканье избалованного ребенка, это даже не было выражением требования чего-либо. В нем, в этом еле слышном, тягучем плаче, изредка прерываемом таким же тихим, беспомощным всхлипыванием, так и чудилась за сердце хватающая жалоба, жалоба на долю, на

судьбу, на ту неумолимую судьбу, что бросила в гниль, тесноту и голую, бесшабашную бедность чистое, ни в чем неповинное создание...

С пеленок — мученик.

Вой ветра в разбитую оконницу как-то странно подлаживал к детскому плачу: он то порывисто заглушал его, то, как бы под сурдиною, рабски следил за скорбною нотою... Утешая и убаюкивая, в тон и гармонию с этим душою надрывающим дуэтом, слышалась песня матери... Правда, не песня, а причитанье какое-то...

*Баю-баюшки-баю,
Баю дитяtku мою...
Ходит котик ночевать,
Мою дитяtku качать...*

Я кашлянул.

— Ах, господи!.. Кто-й-то? — спросил слегка встревоженный женский голос.

Я рассказал в чем дело. Баба засуе­тилась, нашла светец; я услужил ей спичкой, и мы соединенными усилиями, зажгли огонь. Теле­нок, привязанный у печки, заревел благим матом и отчаянно запрыгал, — вероятно, об-

радовавшись свету... Под ногами шелестела мокрая, перегнившая солома.

— Ох, и погода же!.. Да куда ж вас несет экую пору?

— К Панкратову.

— Ишь ты, ближний свет!.. — Баба покачала головой. — Право, оставайтесь... Да я и Гришку не пущу... Ну, долго ли до греха!.. Вы уж лучше ночуйте; я бы соломы настлала... в сенцах свежая есть.

Я отказался. Она слезливо посмотрела на меня и молча отвернулась к окну, за которым все выше и выше поднимался сугроб.

Ребенок умолк; хрипливое, тяжелое дыхание доносилось из колыбели. Баба, подгорюнившись, стояла, прислонясь к печке. Вся она была какая-то жалкая... Выражение беспомощности и тоскливой покорности застыло на некрасивом, испитом лице... В голосе слышалось уныние и редко-редко прорывалась какая-то детски брызгливая злость. У ней было много общего с мужем.

— Что ж, маслену-то весело гуляли? — спросил я.

— И, батюшка, какое уж тут гулянье... На

соль не хватает... Мука, почитай, на исходе, а до новины-то два раза ноги протянешь... Не до гуляньев тут...

С печки робко свесилась детская головка.

— Много у тебя детей-то?

— Да вон мальчонка, пяти годочков, — указала она на головку, тотчас же юркнувшую в темноту, — девчонка еще, да грудной вот... Болеет все, нудится... Господь-то не прибирает его.

Баба тихо вздохнула.

Вошел Григорий и шумно сбил снег с мерзлых лаптей. Зипун был подпоясан, в руках пеньковый кнутишко.

— Ну, едем, что ль? — обратился он ко мне, стараясь не глядеть в сторону жены.

— Пожалуй...

Я поднялся с лавки.

— Гриша, куда же ты едешь в такую вьюгу?.. Ишь, творится-то что... Ведь беспрерменно заблудишь...

— Небойсь, не сблужу, — отозвался Григорий, недовольно морща брови.

Баба понурилась и тихо стала качать колыбель: ребенок опять заныл. Мы вышли из

избы.

Сдержанное всхлипывание послышалось сзади нас. Григорий порывисто отворил дверь в избу и вошел в нее. Я остался среди темных, как погреб, сеней.

— Да ты, Ариша, не плачь, — донеслось до меня, — тут дорога-то известная, а коли не затихнет — я и заночую у Панкратова...

— Право, не ехать бы... Вон Бодрягин-то, Захар, замерз на всеедной...

— А дома много высидишь?.. С голодухи, что ль, издыхать?.. Сама знаешь... Два целковых на земи-то не валяются: это ведь деньги!.. Не кажинный день так-то...

Дальше следовал шепот. Я отворил дверь в избу.

— Сейчас, сейчас... — засуетился Григорий, спеша вызвать на лицо подобострастную улыбку и подтягивая истрепанный кушачишко.

— Не погодить ли нам, пока утихнет, а?

Тревога показалась в глазах Григория, баба — и та как-будто испугалась...

— Что ж, воля ваша... — как-то потерянно мямлил он, — по-моему, сейчас бы... Нечего

время проводить... Она сейчас-то бы лучше, пожалуй, езда-то...

— Да я тебя все равно возьму провожатым, хоть и совсем стихнет, дорога незнакомая, а все-таки ночь... — поспешил я его успокоить.

Дело уладилось. Я выкурил две-три папиросы. Вошел мой Яков, потерялся у печки, посушил варежки и опять отправился к лошадям. Григорий то и дело выбегал «смотреть погоду»; каждый раз она, по его словам, была «кажись, ничего»... — Чем дольше я сидел в избе, тем больше он тревожился, тем больше ему не сиделось на месте...

Наконец поутихло. Мы вышли из избы. Григорий вывел из хлева маленькую, шершавую лошаденку и собирался садиться на нее. Так как вешки ясно виделись по дороге, и подземка несла чуть-чуть, то я сказал ему, чтобы он привязал пока лошадь сзади и сядился в сани. Он было полез на тесный облучок.

— Садись со мною рядом, а то Якову будешь мешать, — остановил я его.

Уселись. Поехали. Сквозь туманные обрывки туч кое-где светились звездочки и сине-

лось небо. Морозило. Снег неистово скрипел под санями...

— Тут Калининны дворики придут, — промолвил Григорий.

— Скоро?

— Версты четыре, а то и меньше...

Дорога, часто усаженная соломенными вешками, тянулась около реки. Влево — река, вправо — чистое поле... Лошади скоро уморились: снег доходил им почти до колена. Полозья врезались... Поехали шагом. Яков то и дело похлопывал рукавицами. Григорий бочком сидел около меня и посматривал, по сторонам.

— А, должно быть, плохо тебе живется, Григорий? — обратился я к нему.

— Чего уж... — Он помолчал немного. — Оно бы и ништо, да вот хлебушко-то... Недостача все... А там ребятенки малы, все сам да сам... Баба тоже хворает, с самых родов... Животом жалится... молоко вот тоже пропало.

— Да ты бы свозил ее к акушерке, что ль, — небойсь, есть земская-то?

— Ну, уж куда там!.. В позапрошлом году так-то бачка помирал... Тоже научили, это, к

дохтуру... Приехал я, а он стоит на крылечке, перчаточки надевает — таково сердито! — должно, малы они ему... Тройка тут готова, ямщик... К вашей милости, говорю... «Что?» — спрашивает... Вот — умирает, колотье заму-чило... Указываю, это, на бачку-то — он в телеге под войлочком лежит, не вмоготу ему слезть-то... «Некогда, говорит, пойди к фершелу»... Взял да укатил, только я его и видел... Ну, посмотрел я, это, ему вслед, да еще себя выругал... Для нас ли этот народ заведен! — только присловье одно... Пошел к фершелу... Ну, фершелок, известно, пьяненький: дал чего-то в пузырьке, — пои, говорит...

Григорий замолчал.

— Ну что же, полегчало?

— Кому? Бачке-то? — спохватился он, — известно, помер... Где ж полегчать!.. Дорогой-то еще дюжей его разбило — в два конца-то, почитай, сорок верст... А уж работник был, царство ему небесное, и-и... — он покачал головой. — Как жив-то был — мы все-таки супротив других не плошали: два работника!.. Ну, а теперь, что ж, плохо... Завезешь, завезешь хлебушка с поля... Ну, думаешь, ноне до нови-

ны перебьюсь... ан не тут-то было!.. Там продашь на подушное, там за земельку купцу надоть, там засыпку в магазей... туда-сюда, глянь — до поста-то великого еле-еле протянешь... Да и то уж впроголодь. Кабы коровенка — все бы сподручнее...

— Разве нет коровы-то?

— Летось с укциону продали... Барину тут задолжал — не отработал...

Григорий вздохнул.

— Оно бы все ничего, да вот ребятенки-то... Грудной-то нудится-нудится, тоска... С утра до ночи ноет... Известно, кабы молочка, глядишь — и справился бы... Теперь вот телочку добыл: у соседа корова сдохла, я ее и взял; две меры ржи отдал...

— Чем же вы маленького-то кормите? — удивился я.

— Махонького-то? Да чем... хлебушка нажуешь с солью...

Он замолчал и старательно начал оправлять полость, покрывавшую мои ноги.

Холодный ветерок подувал в лицо. Он опять понемногу усиливался. Обрывки туч снова сплотились и заслонили редкие звезд

дочки.

Вьюга опять закрутила.

— Калинкины дворики виднеются! — слышалось восклицание Григория, ехавшего впереди. Он поравнялся с санями. Лошаденка его, сплошь занесенная снегом, беспрестанно отфыркивалась и трусила мелкой рысцою. Зипун тоже покрылся белым слоем.

— У... понесло-то!

— А что, Григорий, не перегодить ли нам в двориках? — закричал я ему, — может, опять поутихнет.

— Что ж... Тут знакомый мужичок есть, Андреян Семеныч... Заедемте... Изба чистая...

— Ну ладно!

Переехали какой-то сугроб. В избах замерцали подслеповатые огоньки. Зашумели ветлы около полузанесенных дворов...

Калинкины дворики стояли среди чистого поля; река отходила от них версты на полторы. Все это сообщили мне после. К Панкратову я прежде ездил по иной дороге, минуя дворики.

Мы поравнялись с длинной избою. Два окна выглядывали на улицу и освещали ее. Гри-

горий подошел к окну и постучал; послышались расспросы... Наконец дверь скрипнула, и нас пустили. Где-то на дворе залаяла собака...

Я вошел в избу. Это была просторная сосновая изба, чистая, теплая, с деревянным полом, с «белою» печкою. На столе, накрытом грубою скатертью, лежал непочатый каравай ситного хлеба и стояла деревянная резная солоница. В высоком деревянном подсвечнике горела сальная свеча.

Меня встретил хозяин. Это был высокий, статный мужик, с красивым, открытым лицом, с большою русою бородою. Сильная проседь серебрилась у него в волосах; серые глаза глядели умно и насмешливо... По тонким губам бродила какая-то подмывающе-бодрая, слегка лукавая усмешка... Вообще в нем сразу что-то располагало, — есть такие симпатичные лица.

Поздоровались. Я снял шубу и подошел к столу.

— Аль по нужде какой едешь? — спросил меня Андреян Семеныч, бережно вешая мою шубу ближе к печке. Голос у него был прият-

ный и добродушный, но опять-таки с легким оттенком насмешливости.

Я ответил ему, куда еду. Он слегка покачал головой и, накинув полушубок на плечи, вышел из избы. Колокольчики звенели где-то на дворе.

На задней лавке что-то прибирала сморщенная, но бодрая и чрезвычайно подвижная старушка; с палатей выглядывали веселые русые головки детей.

— Что ж, у вас семьи-то только? — спросил я старуху.

Она чуть заметно улыбнулась.

— Нет, сын есть. Да он с женою пошел прощаться к тестю... Должно, гостюют.

Вошли Григорий и Яков, за ними Андреян Семеныч.

— Раздевайтесь-ка да полезайте на печку... Я обсушу зипуны-то... Ты, Григорий, разувайся да положи в печурку лапти-то, они поколева пообсохнут... Ишь, барин-то вас умаял как...

Он насмешливо взглянул на меня.

— Старуха, поищи-ка винца, там, должно быть, осталось; налей ребятам-то по стакан-

чику...

Старуха засуетилась. Ребята чинно выпили водку и, утеревши полою губы, полезли на печь.

— Ты не выпьешь с дорожки-то?.. Небойсь прозяб... — обратился ко мне Андреян Семеныч.

Я отказался.

— Ну, да оно знамо... — опять-таки насмешливо сказал он, тщательно отряхая Григорьев зипунишко, — шуба-то твоя не этому чета... Мороз-то не вот скоро влезет.

Возражать было нечего... Я посмотрел на часы.

— Много до полночи-то? — спросил Андреян Семеныч.

— Да теперь семь часов.

— Стало быть — пять осталось. Лошадям овса-то надуть? Сенца мы дали.

— Нет... Может, погодка поутихнет, — поедем.

— То-то, смотри... А то овес есть.

— Много считаете до Панкратова?

— Тут хоть и недалеча, версты три, да дорога-то блажная: мало-мальски погода подни-

мется, ни за что не доедешь... Прогалок-то большой: как не попадешь к Панкратову, так и едди по степи до самого Битюка; уж там в лес уткнешься — по ту сторону реки будет...

— Ты кто, из дворян, что ль? — бесцеремонно добавил он, развешивая зипун перед горячим «устьем»...

— Нет, не из дворян.

Андреян Семеныч как-то неопределенно промычал, но тон его сразу стал и доверчивей, и добродушной. Он обстоятельно расспросил меня про мое жительство, мои занятия, про крестьянское житье в Малой Березовке (село, около которого я жил), которая была известна во всем уезде благодаря большому винокуренному заводу, носившему название Березовского.

— Да что, Андреян Семеныч, — ответил я ему на последний вопрос, балуются мужики, в Березовке... Пьянство все усиливается, живут плохо... Воровство завелось.

— Т-э-к... — задумчиво протянул Андреян Семеныч, — да, надо правду сказать, народ дюже стал слабее, чем в наше время, — продолжал он, — кабаки эти пошли, и дележи, и

воровство... Всего в досталь!

— Отчего же это, Андрейн Семеныч?

— А уж бог ее знает с чего! — Андрейн Семеныч развел руками. — Я помекаю так: все от голодухи больше... Ты вот погляди на наш поселок: живем мы, слава богу, покедова — в достаче, ну и не заметно, чтобы пьянство, алибо что... И народ у нас дружнее, мирское дело не продаст, не пропьет... А ты, вон, погляди в Россошном у них, — он кивнул в сторону Григория, выбрали они ходока, за луга стараться, — соседи у них луга отбили, — что ж ты думал?.. — взял этот ходок да за две сотенных документы и продай суседским!.. Вот они как мирское дело-то понимают.

— Это верно, — подтвердил Григорий, — Кузьма Семеныч у нас есть, теперь кабак открыл, с нового года.

— И приговор ему дали?⁽²⁾ — удивился я.

— Дали. Старикам поднес восемь ведер, ну и дали...

— А луга так и остались за соседями?

— Как же, известно, остались... Летось, петровками, какая драка из-за них была!..

— Ну вот... — развел руками Андрейн Семе-

ныч. — У них, чтоб какого-нибудь согласия промеж себя, и не спрашивай... Всяк по-своему, порознь... Только одно и есть мирское дело — мирские деньги пропить... Это они давай!.. И так у них заведено еще: всех дворов в селе около двухсот будет.

— Более, дядя Андрейн, — перебил Григорий.

— А то еще и более, а всеми делами десять аль двадцать мироедов ворочают... Мироед и на сходке, и в волостной, и в кабаке... И как ведь это у них: чуть мужик справится, зашибет где ни на есть копейку, так сейчас и норovit суседа закабалить... И тут уж его бойся... А вот у нас на поселке дворов двадцать есть, да как все мы по капиталам-то ровны, у нас за-кабаливать-то и некого...

— Ты мне вот еще растолкуй, Андрейн Семеныч, — сказал я, — вот вы, барские ведь, как жется, были?

— Барские.

— По сколько у вас на душу земли-то?

— Три с осьминником.

— Ну, вот в Большой Березовке однодворцы живут, у них по пяти десятин на душу

приходится, а живут они — почти полсела побирается, отчего это?

— Ты нас в расчет не клади... Мы еще отцовским нажитием сыты, это вот с воли-то маненько поупали, а то зажитнее нас в округе не было.

— Ну, не вас, так взять других барских, все они живут справнее однодворцев...

— Это правда, что супротив барского однодворец не вынесет... Перво-наперво, работает он куда плоше нашего, под страстью не был, барщины не знавал, а другое дело — избалован... Ну, вот теперь и расплачивается...

— Не равен однодворец, не равен барский, — отозвался Григорий, — вот тоже оленинские барские, а живут-то никак еще хуже нас, грешных...

— Да, оленинские точно что плохо... — сознался Андреян Семеныч.

— Да, видно, всем не меды, — добавил он после некоторого раздумья, куда ни погляди, горе одно... Что барские, что однодворцы...

Он сел к столу и, садясь, хватился за спину.

— Эка поясница-то одолевает... Должно, все палочки отзываются...

Он как-то, не то зло, не то весело, усмехнулся.

— Какие палочки? — удивился я.

— Да как же! Меня ведь сквозь строй гоняли...

Я заинтересовался.

— Она!.. Я ведь бывалый... И Сибири, по барским щедротам, отведал и палочек... В Томской четыре года выжил.

— Да за что же это?

Мне что-то не верилось в эти ужасы, глядя на его спокойное, добродушно усмехающееся лицо.

— Да все воля эта^{3}, пусто бы ей... Ишь, мы до воли-то на Битюке жили... Може, слышал — Калинин барин есть, производителем он теперь... Ну, мы его крепостные были... Угодья у нас были — одно слово... Ну, и лес, и река подле... Заказу ни в чем... Жители мы были еще исстари: мой дед-то чистоганом двести золотых батюшке покойному оставил... Вышла, это, воля. Барин нас и вздумай переселить на эту вот самую «Сухопутку»... Мы, известно, зартачились, ходоков выбрали: я пошел, да еще тут два мужичка. Ушли, как водится, та-

ючись... Однако с Рязани воротили нас, — ишь, не порядок... Пригнали домой по этапу... А уж тут вышло распоряжение ломать... Как так? — не закон, ребята... Сбили мир, порешили не давать... Ну, значит, бунт... Солдат пригнали на постой к нам... Свиной, кур, телятишек, душат не судом! Одно слово — разор... Терпим... «Что ж, хотите по добровольности переселяться?» — спрашивают... «Нет, не хотим...»

Андреян Семеныч воодушевился. Добродушная насмешливость исчезла из его глаз, и в них засветилась какая-то злоба...

— Ты сам рассуди, — обратился он ко мне, — жили мы при всех угожьях... Сады, это, у нас разведены, пчельники, рыбная ловля, луга заливные, и вдруг на! переселяйся... Тут ни леску, ни речки — уж колодцы Калинкин порыл... Какая это воля!.. Работали-работали на них, корпели-корпели, а тут на «Сухопутку»!..

Ну, стало быть, как сказали, это, мы, что не хотим, велели избы ломать. Мы в колья... А сами, значит, еще нарядили ходока, — Архип был у нас мужичок, шустрый такой... Услали

мы его, а сами стоим на одном. Порешили не поддаваться до конца... Ну немного годя пригнали тут на нас две роты, усмирять, значит... Мы было опять в колья... не тут-то было. Ну, знамо, сила! супротив нее что поделаешь... Скорились мы... наутро собрали нас всем миром на выгонок... Солдаты, это, в два ряда выстроились, — с палками стоят... нас кругом оцепили, с ружьями... А над селом просто стон стоит, — бабы с ребятишками рев подняли... Ну, думаю, плохо дело, закатают на смерть... Стали выкликать... выходи, говорят, зачинщики... Переглянулись мы, это... молчим... еще кой-кто сказал: мы все зачинщики... А коли все, так всех сквозь строй гнать... с первого до последнего... что ж, думаю, двум смертям не бывать... перекрестился, вышел... Я зачинщик, говорю... Валяй его, кричат... Начали руки связывать... Пусти, говорю, я и так пройду... ну, все-таки связали; повели... Прошел раз... жгется. Ничего, что дальше... Ведут другой раз... Ну, закатают, думаю... Повели в третий, не стерпел очумел... так замертво и упал... Бросили... тут я уж ничего не помню... Ишь, еще троих водили, да человек двадцать

розгами секли... — А избы, знай, ворочают: все на «Сухопутку» сгоняют... Взяли тут нас четырех прямо в больницу... Оттуда вышло решение в Томскую, в Сибирь, на поселение... Затосковал я: уж переселяться бы как следует, а тут гонят... Ах ты, пусто бы вам! Ну, что тут малый без меня поделает?.. Однако делать нечего, сила солому ломит, плетью обуха не перешибешь... Взял я с собою старуху, пошел. Одиннадцать месяцев нас перли! Со мною деньжонки, спасибо, были, нам-то и вмоготу, а то бы беда!.. Ну, пригнали нас на место. Оглянулись мы, видим, сторона не плохая, пожалуй что и нашей не уступит... Что за притча, думаем, вот тебе и Сибирь!.. Снял я тут мельничонку у мужиков, дело-то это мне сподручное: свой ветряк был на «старине»-то... Мельница хоша и водяная попалась, ну, разница в них небольшая.

Обжились... Глушь такая, что боже упаси!.. Город — двести верст... Село от села — сто... Поселок — пятьдесят!.. Жить то способно, вольно... Лесу — сколько хочешь, рыбы — тьма... Всего вволю!.. Я уж подумывал сына вызвать туда...

— Что же, вызвал? — спросил я.

— Случай такой подошел, я вот тебе расскажу... Сошелся я там с начетчиком одним, тоже сосланный был... Ума — палата!.. Век я его не забуду...

Андреян Семеныч слегка задумался и вздохнул. Старуха подошла к столу и сняла пальцами нагоревший светилень.

— Это ты про Самсон Гаврилыча? — спросила она.

— Про него... Эх, душа был человек!.. Ну, вот он-то и отсоветовал мне сына выписывать... «Скорей всего, говорит, вам прощенье выйдет... Человек ты денежный, тебе везде будет хорошо, а пуще того в своих местах... А тут жить-то пожалуй, и вольно, только тоска тебя задушит: человек ты пришлый, своих местов ни в жисть не забудешь...» Послушался я его. И только с той поры одолела меня тоска: все дожидаюсь, скоро ли отпустят в Ра-сею... Не найду никак места, да и шабаш!.. А тут старуха скучает, — кропчится... Что ты будешь делать!.. Так я у этого начетчика и дневал и ночевал... Заберусь, бывало, к нему... Хата, это, чистая, белая... сядем и ну толко-

вать. Сначала по хозяйству: как помол, как что... а там уж и по-душевному... Заскучаю я станет читать мне, — читал он страсть как внятно, вразумительно... И все больше одно место читал, — от тоски, говаривал, помогает... Вон оно у меня замечено, сын-то маленько грамотен...

Андреян Семеныч кивнул на божницу.

Я взял книгу, лежавшую там, и развернул: то было евангелие.

— Ну, прожили мы там четыре года... Воротили нас... Пришли мы уж сюда, на «Сухопутку»... Вижу, малый женился, ребятенками обзавелся, обстроился как след, все в порядке... Я тоже принес маленько деньжонок: скопил в Томской да и родительские еще оставались... Ну, вот и живем, пока бог грехам терпит.

Андреян Семеныч ласково взглянул на меня и усмехнулся; ему, видимо, нравилось мое напряженное внимание и мое сочувствие.

— А что, дядя Андреян, — слышался с печки голос Григория, — земли там довольно, вволю, в Томской-то?

— Куда еще больше! И земли и лесу.

— Эх, кабы жена не хворала да деньжонок

на дорогу, — ушел бы туда!..

Андреян Семеныч задумался.

— «Сладки гусиные лапки!» — «А ты их едал?» — «Я-то не едал, да мой дядя видал, как наш барин едал!» — сбалагурил он, усмехаясь. — Эх, Григорий, без денег да без силы и там пропадешь!.. Поставь плотника без топора, срубит он те избу-то?.. А в Томской такие места: тут рупь нужно там пятью не обойдешься... Тут ты один вот, хоть плохо, да все копаешься, а там впору с семьей, не то одному... Кабы сообча с кем, ну так... Да и то! Андреян Семеныч махнул рукою. — Вон тамлыцкие — вконец разорились... Туда уж еле дошли, а оттуда всю дорогу побирались... И тут-то все распродали, не зная, как и быть теперь...

— Отчего же это? — полюбопытствовал я.

— С дуру-ума. Броду не спросились, — в воду полезли... Уж если переселяться, так надо умеючи: сперва ходока послать надежного, место облюбовать да закрепить его как ни на есть, може оно казенное аль хрестьянское... Ну, опосля на это место-то дворов пяток справить, ну, а там уж и можно... Зря-то ничего не

делается, милый ты мой...

Все мы молчали. Сверчок трещал где-то за печкою. Со двора слабо доносился шум ветра...

Я взглянул на часы: было десять. Григорий все уговаривал ехать, — он, кажется, боялся за свои два целковых, — на том и порешили.

Хозяин от денег отказался: «Може, я когда заеду к тебе, — авось обогреешь», — сказал он мне, добродушно усмехаясь. «Аль, може, неловко мужика-то в гости?» — добавил он, уже смеясь. Я, разумеется, принялся разуверять его и на прощанье крепко пожал ему руку. Руку он мне подал неловко, и удивился, когда я крепко сжал ее: по его мнению, это было «лишнее».

Мы выехали. Около дворов как будто стихло, но это объяснилось переменою ветра: когда проехали дворики и выехали в поле, там несла страшная вьюга... Ворочаться назад не хотелось, да к тому же думалось, что за три версты можно ощупью добратся.

Сначала все шло хорошо. Попали на дорогу, хотя и полузанесенную, но все-таки отличавшуюся твердостью от рыхлого поля. От-

дохнувшие лошади, похрапывая, бодро шли навстречу ветру.

Проехали с версту.

Мне показалось, что под санями не прежняя ровная дорога; я не счел нужным заметить это Якову, предполагая, что могла попасться какая-нибудь случайная поверхность. Григорий едва заметным пятном виднелся впереди.

Сани сильно затолкало. «Что это?» — крикнул я Якову; тот нагнулся с облучка и всмотрелся: оказался вспаханный косогор, с которого почти весь снег снесло ветром. Подъехал Григорий.

— Как быть? — Сбились...

— Вижу, что сбились. Как полагаешь — далеко от дворигов отъехали?

— Да, думается, версты две...

— Куда ж теперь ехать?

— Надо попытаться вбок ветру, — должно, прямо попадем.

— Ну, ступай вбок ветру.

А вьюга, как бы сердясь за непрошенное соседство, завывает все резче и резче, и целыми тучами валит снег на сани...

Въехали на какие-то жнива: снег лошадям выше колена. Пристяжные пугливо жмутся к оглоблям, колокольчики как-то жалобно перезванивают. Поехали шагом, чтобы вконец не изморить лошадей. Едем час, другой... — нет и признаков жилья, а давно бы пора.

— Где же Григорий?

— Да он впереди все ехал... Не видать что-то... — Ну-ка, остановись.

Лошади, после легкого усилия со стороны Якова, стали как вкопанные; пристяжные сиротливо понурили головы... Григория нет.

— Покричи-ка, Яков.

— Гри-го-рий! — выработывает мой возница охрипшим басом.

— Гри-го-рий! — подсобляю я ему.

Нет отзыва. Звук наших голосов замер, как в склепе. Только вьюга порывисто гудела в ответ и несла все новые и новые горы снега. Около саней образовался сугроб.

Невольная дрожь проняла меня... Какая-то смутная тоска ложилась на душу... Понемногу закрадывалась мысль об опасности серьезной...

Буря несла какими-то прихотливыми по-

рывами: то завоюет, застонет, закружится, — то стихнет. Чудилось что-то дико-осмысленное в этой игре с человеческой жизнью, в этой забаве кошки с мышкой.

Вот она сразу стихла: чуть слышно голосит ветерок, взвевая маленькие облачка снега. Но сверху, с туманных, тяжелых туч снег падает и падает... Казалось, не будет конца ему... И полость, и шуба моя, и армяк Якова — все завалено... А снег все падает и падает... Какое-то мучительное чувство, чувство постепенной отчуждаемости от жизни овладело мною при виде этих беспрерывно падающих мириад крутящихся снежинок, при виде все возвышающихся час от часу сугробов вокруг саней и лошадей.

— Двинь лошадей, Яков, — засыплет!.. Лошадей погнали; они рванулись и стали... Колокольчики жалобно и глухо звякнули...

Пробую закурить сигару — спички тухнут: отсырели.

— Гри-го-рий? — взывает Яков с тоскою в голосе.

Нет ответа... Снег падает и падает... Я начал немного зябнуть... Яков, по колено в сне-

гу, ходил около лошадей и раздражительно оправлял сбрую; изредка крупная ругань выдавала его душевное настроение.

Тьма висела над полем. Не та черная, осенняя тьма, про которую говорят «хоть глаз выколи», а серая, туманная... Темные предметы резко обозначались в этой тьме...

Понесла опять вьюга, свирепая, дикая... Поле снова застонало. Лошади прозябли и, без всякого понукания, двинулись. Яков пошел позади... Колокольчики, от настывшего на них снега, издавали какие-то деревянные звуки.

Григория след простыл... Мне невольно вспомнились его детишки мал-мала меньше, хворающая жена... «Поехал ли бы он провожать меня, если бы у него были в кармане эти несчастные два рубля?» — подумал я. «А тебя-то куда черт нес?» — помимо моей воли встал неутешительный вопрос. «Кто тебе дал право рисковать жизнью людей?..» — «Два рубля дали мне это право...» — как-то сам собою сказался иронический ответ, и больно стало на душе...

Спускаемся куда-то под гору... Ниже, ниже

и, наконец, погружаемся в сугроб... Лошади стали. Приходилось вылезать из саней; делаю попытку — по пояс!.. Снег в калошах, снег за сапогами...

После дружных усилий и энергичных попуканий лошади вывезли из сугроба порожние сани... Мы сели в них, на этот раз рядом и плотно до невозможности. Холодная бешено воющая мгла окружала нас... Снег на ногах у меня таял, дрожь охватывала все тело.

А Григорий все на уме... Я опять призываю его надорванным голосом: «А-э-й!» — слышится не то смутное эхо моего возгласа, не то зазыванье вьюги... Еще раз кричу — ни звука...

Мною овладевает какая-то апатия: как будто ко сну клонит, но я не сплю... Яков сосредоточенно молчит, и только что-то изредка шепчет... Должно быть, нещадно ругает и меня, и вьюгу, и все... А может, и не ругается, а вспоминает что? Может, мать свою вспоминает, суетливую, словоохотливую старушку? Или свою незатейливую крестьянскую обстановку, с ее рабочими буднями, с ее праздниками «на улице», где до ранней зорюшки тянется то тоскливая, то ухарская песня, слы-

шится топот трепака, треньканье балалайки, звонкий хохот девок и молодиц... Может, и возлюбленную какую вспомнил, с черной соболиной бровью, с высокою, крепкою грудью, с любовными речами где-нибудь в душистом коноплянике или у плота на берегу широкой тихой речки, в которой ярко отражается жаркое летнее солнышко?.. Кто его знает...

Все холоднее становится телу...

Я высоко приподнял бобровый воротник моей шубы и накрылся им совсем, с лицом. Отрадное чувство теплоты охватило меня. На миг я вполне отдался этому чувству, — как будто вьюга не ревела, снег не падал тучами с неба... Крепкая ругань Якова вывела меня из этого полубессознательного состояния... «А ведь замерзнем», — промелькнуло в голове... Жгучая тоска по жизни охватила меня... Жизнь эта казалась такой полной, такой осмысленной... Все ее горе, все ее невзгоды отступали в какую-то недосыгаемую даль...

Воспоминания, одно другого заманчивей, зароились в голове... То вспомнится далекое детство... Яркая зелень муравы на лужайке... Звонкие голоса детей, играющих на той лу-

жайке... Залитый белыми пахучими цветами вишенник в саду... Веселый птичий гам в далекой роще, — там, за садом... Тихая река, поросшая коблами и зеленым камышом; за рекой — поемные луга с бесчисленными, блестящими как зеркало, озерами, необъятная даль, подернутая сизым туманом, и над всем этим привольем — чудно сверкающее майское солнышко...

— Ну! окаянные, — остановились! — сердито кричит Яков на лошадей, и сани порывисто ныряют из сугроба... Воротник мой распадается, и холодный снег летит в лицо... Я снова старательно закрываю его, снова нагреваюсь дыханием, и снова заманчивое прошлое встает предо мною...

Встает хуторок, затерянный в глуши. Безграничная степь кругом того хуторка. Далекие курганы, темными очертаниями пестрящие горизонт, и над всем этим простором — горячее синее небо и глубокая, невозмутимая тишь... А то покосы вспомнятся... Темные пятна бесчисленных копен, разбросанных по зеленому простору... Величавые стога... июньские темные ночи... Огоньки у косарей...

стройные песни... далекий отзвук лошадиного ржания... перекликанье перепелов в нескошенной траве, и глубокое-глубокое небо с ярко горящими звездами...

Как бы хорошо улететь и остаться там — в этой чудной стране былых впечатлений, былых радостей!..

Холодно... Я еще крепче прижимаю воротник к лицу и усиленно дышу... На мгновение опять становится тепло, и опять встает далекое прошлое... Над степью горит заря в полнеба... Вдали замирает тоскливая песня... воздух полон ароматом подкошенной травы... У студеного колодезя в ложбинке стоит она, моя первая любовь, — Дуня... Любовно и пытливо смотрят ее серые глаза из-под темных длинных ресниц... Отблеск зари весело сверкает в тех глазах... Смуглый, здоровый румянец покрывает щеки... высокая грудь трепетно волнуется под туго стянутой завеской... грубая, рабочая рука крепко и застенчиво жмет мою руку... «Аль ты меня любишь?» — порывисто шепчет она, наклоняясь к моему лицу... «Люблю, моя дорогая красавица...» Горячие губы обжигают меня... Мои руки крепко сжимают

трепещущий стан... до боли крепко... А песня снова тоскливо дрожит где-то вдалеке, вызывая глухой, едва слышный отзвук...

Где-то она теперь, эта Дуня?.. Работает ли, и день и ночь не разгибая спины, обшивая и мужа и детей, поспевая и на жнитво в поле, и на молотьбу в риге, и на поденную работу к купцу иль к барину?.. Надорвала ли она свои молодые силы на этой ежедневной, ежечасной работе, и сгинула ль ее девичья красота, и здоровый, смуглый румянец заменился зеленоватой бледностью, а высокая, крепкая грудь высохла как щепка, или вынес все невзгоды железный организм, и она по-прежнему бойкая, статная, красивая?..

А холод уж пронизывал меня насквозь... Тело дрожало и ежилось под сырым платьем. Воротник, на несколько минут согревший меня, не помогал уже... Я отворотил его от лица.

Вьюга опять немного стихла. Яков покрикивал на лошадей. На сероватом фоне волнующегося снега показался лес, дремучий-предремучий...

— Яков, сходи-ка, что за лес, — не сад ли панкратовский?

Яков идет... Я с лихорадочным нетерпением всматриваюсь в его удаляющуюся фигуру.

— Это бурьян!.. — чуть слышно доносится до меня его крик. — Должно межа аль залогги...

— Мареву, — как-то сосредоточенно выговариваю я... Какая-то разнеживающая усталость овладевает мною... В голове — хаос... требуется сильное напряжение воли, чтобы связать этот хаос, чтобы выработать, выдавить из него какую-либо разумную мысль... Этой способности к напряжению не оказывается...

— А-э-й! — слышится из мглы, на этот раз явственно и громко.

— Гри-го-рий! — кричим мы в два голоса.

Впереди что-то зачернело.

— Ты, Григорий?

— Эй, добрые люди!..

К самым саням нашим подъехала заиндевевшая, лохматая лошаденка; на розвальнях, в которые она была впряжена, белелась какая-то безобразная масса. Из саней вылез тулуп и подошел к нам; снял шапку.

— Здравствуйте... Откелева будете?

— Здорово... Блудим вот... с Малой Березовки... Ты чей?

— Будилковский... Ехал на станцию, тоже сбился...

— Куда держать, как думаешь?

— Держать беспрерывно на ветер надоть: тут неподалеку либо Тамлык, либо Красноярье должно быть.

— Ну, едем вместе!

— Теперича, знамо, вместе. Авось бог милостив...

Тронулись. Лошаденка, фыркающая, шла за нашими санями. Меня клонило ко сну. Желая во что бы то ни стало избавиться от него, я решительным движением руки совсем отворотил воротник... Снег бросился мне в лицо; щеки защипало... Теплое дыхание лошаденки коснулось моей шеи и полилось отрадной струей по спине...

Протяжный гул едва слышно раздался из мглы... Вот еще...

— Это колокол! — радостно вскрикнул Яков и ударил по лошадям.

Поехали на гул. Он становился все ближе и ближе, все слышней и слышней... Лошади,

словно почуяв близость жилья, бодро стали переступать по сугробам... Под санями почудилось что-то твердое... Попалась наклоненная ветром растрепанная соломенная вешка... Мы выехали на дорогу. Сонливость мою как рукой сняло...

Скоро черными пятнами показались избы. Колокол все гудел и гудел... Темный высокий силуэт церкви показался перед нами; чуть-чуть сверкнул огонек около нее. Мы направили лошадей к этому огоньку, — оказалась сторожка.

Перезябший, занесенный с ног до головы снегом, я бросился из саней в эту сторожку. Блок на двери пронзительно заскрипел...

С печи свесились чьи-то ноги в лаптях, а потом выглянула оттуда и вся фигура...

— Григорий! Ты тут?..

Обрадованный Григорий соскочил с печи и принялся разоблачать меня.

— Ну, слава богу... Так и думал — замерзли, — торопливо говорил он. Полезайте на печку скорей...

— Да ты-то как сюда попал?

— Плутал, плутал, да и заехал сюда... Я уж

тут давишь... тоже насилу отогрелся...

— Это Красноярье?

— Какое там Красноярье — это аж Малый Яблонец!

Я удивился: от Калинкиных двориков до Яблонца считалось пятнадцать верст...

Старые маленькие часы, шипя и как-то захлебываясь, пробили четыре.

«Шесть часов под вьюгой», — подумал я и полез на печь.

Скоро вошел и Яков с новыми спутниками. Их было двое — старик и мальчик. Лошадей поставили под дровяной навес около сторожки. Пришел и сторож, отставной солдат-пребраженец, хромой и седой, но еще свежий старик. Он объяснил, что Григорий разбудил его в два часа, рассказал в чем дело, и он сейчас же отправился звонить в колокол, по опыту зная, какое это хорошее пособие для заблудившихся в степи во время вьюги.

Все обошлось благополучно. Никто из нас даже и носа не обморозил, вероятно благодаря тому, что с самых двориков дул талый, полуденный ветер и стало опять морозить уж недалеко от Яблонца.

Измученный впечатлениями адской ночи и пригретый теплой печью, я задремал...

Спал я немного: сдержанный говор разбудил меня. Я открыл глаза. Керосиновая лампочка без стекла коптила потолок, разливая темно-багровый, мигающий свет. Часы проворно тикали; где-то мурлыкала кошка; кто-то пронзительно храпел...

Говор слышался с палатей.

— Стало быть, ты, таперича, ходоком будешь от общества? — задавал вопрос сильный баритон, очевидно принадлежавший сторожу.

— Ходок, ходок, братик ты мой, это ты верно... — отвечал ему добродушный голос с какой-то тягучей, плавной интонацией.

— Куда ж ты, таперича, примерно сказать, бредешь?

— А бреду я, братик ты мой, в Томскую, — для осмотра, значит...

— Это, к примеру, насчет новых местов?

— Да, да. Мир препоручил на мою волю: осмотреть, разузнать: как земли, как что...

— Вы что ж, стало быть, целым селом норовите туда?

— Что ж поделаешь... — вздохнул ходок, — уж больно житья не стало... Никаких волей тебе нетути... Так и порешили — идти всем миром...

— Велико ваше село-то?

— Да душ около пятисот наберется.

Сторож глубокомысленно засвистал.

— Кто же вас пустит-то?

— Как не пустить... Ты сам посуди, братик ты мой, теперь вот почитай все село без хлебушка сидит... В кажинной избе хворый, либо два... На погост то и знай таскают... А с чего? — с голодухи... Подати еще за первую половину, за осеннюю, не внесёны, а тут уж за другую гонят... Что ж... поневоле уйдешь куда глаза глядят, не токма в Томскую...

— Ведь они у всех одни — вол-то!.. А вот мы терпим... Хошь тяжело, кто об этом говорит, а все живем...

— Земельки-то у вас побольше, братик ты мой...

— Какое уж там!.. В одном поле сороковая, а в двух по тридцатке...

— Э!.. — протянул насмешливо ходок, — это вы жители... Еще, никак, леску малость

есть?.. А вы вот поживите-ка по-нашему: полтридцатки в клину, окромя ни лесу, ни выгона... Да земля-то дермо!.. Прокормись тут-то... Мы скотинку-то, почитай с самого посева, на зеленях держим, — пустить некуда... уж и так она, сердешная, извелась совсем... Зимой опять: не то ей дать соломки-то, не то избу истопить — ребятишек обогреть... Одно слово горе!.. Весной, честь-честью, выедешь в поле с сохой, а пахать-то и не на чем... Свою еще туда-сюда, как-нибудь с грехом пополам всковыряешь, а вот как придется барину аль купцу отработывать зимнюю наемку, — ну, и плачь... Вот она, жизнь-то какая!.. Иной раз так-то и земельку повинишь, что, мол, хлебушка не рожает, а иной раз и подумаешь: с чего ей, матушке, рожать-то?.. Так-то, братик ты мой...

— А небось кабак полон? — скептически заметил сторож, сплевывая сквозь зубы и расправляя чубуком трубки свои седые усы.

— Известно полон, — горячо заговорил ходок, — небось, брат, как горе-то навалится, не токма что в кабак, в прорубь забежишь... Кабы оно, горе-то, какое часовое, наносное, так

взялся бы за ум да опять справился... А то ноне голодаешь, а завтра еще пуще... Ноне у те коровенку ведут с двора, завтра — овец последних... Ноне хорош годок, да к посту хлебушка нетути, а завтра — он и вовсе, може, не родится... Вот оно что в кабак-то гонит, милый ты человек... Горе-то, оно вековешное... с шеи-то его не скопнешь: хошь ходи в кабак, хошь в рот капли не бери, все едино... хошь работай, хошь плюнь... А вино, сам знаешь, память отбивает: море по колено... Вот его мужичок-то и любит... А уж коли он в достатке — в кабак не пойдет: шкалик-то какой дома выпьет... Известно, уж пьянство — плохая статья, да сердце-то свое человек переломить не может, братик ты мой, а сердце-то у него вчастую кровью обливается... Ну, вот он ее и душит...

Ну, правда, — продолжал он, снова впадая в добродушный тон, — много есть и балуются, особливо молодые парни... Есть такие — стащит что попало, да в кабак... У нас, летось, одного мальчика осудили — в церкву залез... Ну, это, я так полагаю, от кабатчиков больше — сомущают... А малый молодой, по-

жить-то хочется, ну и липнет, ровно муха к меду... Эх, грехи, грехи!

— Что же это у вас земельки-то обмалковато? — перебил ходока сторож.

— Да мы встарину-то лесом владали — Будилловским бором... Без мала две тыщи десятин было... Да лес-то тот у нас казна отбила.

— Как же так? — заинтересовался сторож.

— То-то все простота... Ишь, ни плантов, ни документов нетути: лет, може, шестьдесят тому брали их в суд, они там и стори, — в те поры вся архива сторела... А лес-то был нам закреплен царицей Екатериной — грамота от ней была: владать нам веки-вешные Будилловским бором...

— Что ж, вы хлопотали?

— Как же не хлопотать!.. Я разов пяток в Питере-то побывал, все попусту!.. Тысячи три только своих приложили... Вконец разорились... Знамо, казна... Кабы другой кто захватил, глядишь и взяло бы наше... А с казной — что поделаешь! — Ходок сокрушительно вздохнул. — Теперь один конец: новые места... А то хоть ложись да помирай... Мир так и присудил: коли я облюбую землю, дворов

тридцать сразу переселить, а остальных года через два...

— Кому ж ваша-то земля останется?

Ходок пренебрежительно махнул рукой.

— Пускай кто хочет берет... Толку-то в ней немного — почитай сто лет пашется без навоза... Може, купец какой засядет да под степь пустит, гурты отгуливать... Пускай уж разводятся, видно их, толстопузых, царство пришло...

В тоне ходока задрожали злобные нотки...

Говор затих. Сторож все покуривал трубочку и поплеывал. Ходок вздыхал и тяжело ворочался в глубине полатей.

— Что-то отец Афанасий нейдет, — пора бы и заутреню начинать? заговорил сторож.

Ходок ответил ему что-то, и опять сдержанный говор послышался с полатей. Но я уж не вслушивался в этот говор: дрема одолела меня...

Когда я проснулся, в оконце, густо запущенное морозом, тускло брезжил розовый рассвет. Ходок стоял среди избы и, благоговейно кладя поклоны, молился.

«Господи, владыко живота моего, — разно-

силось в полусумраке сторожки, — духа праздности, уныния, любоначалия, празднословия не даждь ми... духа же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви даруй ми, рабу твоему... Ей, господи, царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего...»

Я с любопытством оглянул молящегося. То был высокий, сгорбленный старик с огромной лысой головою, с бородою вплоть до пояса... Лицо было крайне простое и добродушное; в тихих голубых глазах светилась какая-то трогательная, детская наивность...

На лавке, прикорнув к какой-то кадлушке, совсем одетый, спал мальчик лет двенадцати; на его белокурой кудрявой головке, на его полуоткрытом румяном рте почивало то же добродушие, та же беззаветная наивность, что поражала так в лице ходока. Это был его внучек, с которым он ехал до станции и едва не замерз.

В сторожку стали набираться говельщики. Поп что-то запоздал: к заутрени заблаговестили, когда уж я выехал из Яблонца.

На дворе совершенно распогодилось. Ни

одно облачко не застилало синего неба. Широкое сугробистое поле так и алело под лучами только что поднявшегося солнца. Крепко морозило. Отдохнувшие лошади, отфыркиваясь и прядая ушами, неслись как ветер. Колокольчики певуче будили степную тишь попеременно с торжественными звуками яблоневского колокола. Откуда-то издалека еще доносился колокольный гул... Даль сверкала и сливалась с сверкающим небом... Чуть видно искрился крест на какой-то церкви... Позади нас, за Яблонцем, в сторону Битюка, чернелся лес и опять искрились два-три креста... А за лесом тонуло в алых лучах Красноярье, раскинутое на горе, синел Тамлык, до изб которого не добрались еще солнечные лучи, успев только зарумянить крутые столбы дыма, прихотливо поднимавшегося из труб...

Яков похлопывал рукавицами и весело покрикивал на лошадей. Григорий отстал и не спеша трусил на своей косматой лошаденке.

Комментарии

По-черному. — В избах, топившихся «по-черному», без трубы, дым стлался под потолком и выходил через дверь.

[^^^]

2

«И приговор ему дали?» — мирской приговор, то есть постановление мира, общества.

[^^^]

«Да все воля эта...» — «Воля», то есть крестьянская реформа 1861 года, была проведена всецело в интересах помещиков.

После реформы размер крестьянского надела оказался меньше дореформенного. При межевании крестьянам отводили самую худшую землю, в то время как помещики захватывали лучшие земли. Как правило, крестьяне лишались леса, лугов, водопоя и др. Крестьяне, обманутые в своих надеждах, отвечали на реформу бунтами, восстаниями. В апреле — июне 1861 года крестьянское движение охватило 42 губернии. В рассказе Андреяна Семеныча очень хорошо передана напряженность атмосферы, создавшейся после реформы. Разоблачая в «Записках Степняка» грабительский, крепостнический характер крестьянской реформы 1861 года, Эртель в этом вопросе полностью сходится с революционными демократами.

Не только в рассказе «Под шум вьюги», но и в других, например в «Полоумном», Эртель с большой художественной выразительно-

стью рисует безысходность положения, в которое попадали крестьяне, когда помещик вынуждал их уходить с обжитых мест, «наделял» их самой плохой землей, лишал воды, угодий и др. Если мы сравним картины бедственного состояния крестьян, нарисованные Эртелем, с тем, как говорит о последствиях реформы Н. Г. Чернышевский в своей знаменитой прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», то увидим любопытные совпадения.

Конечно, сама русская действительность, общение с крестьянством, жизнь которого Эртель очень хорошо знал, давала писателю материал для его рассказов. Но правильная оценка Эртелем многих явлений действительности, ясное понимание положения крестьянства было следствием влияния на него взглядов революционных демократов — Чернышевского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина.

Вряд ли приходится сомневаться в том, что Эртелю, связанному в начале 80-х годов с революционными кружками, должна была быть известна прокламация Чернышевского «Барским крестьянам».

О том же, как высоко ставил Эртель Чернышевского, чье имя часто встречается в его переписке, говорит хотя бы фраза из его неопубликованного письма к М. В. Огарковой: «Чернышевский был один из самых светлых умов не только России, но и всего света...»

[^^^]